

Михаил Булгаков

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером я слышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью... Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

— Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой беззаконной стеной, и под самой крышей — огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит

В начале 1918 года молодой врач Михаил Булгаков после почти двух лет отсутствия, после фронтовых госпиталей и маленькой сельской больницы, которая была для него испытанием не меньшим, чем фронтовые госпитали, вернулся домой, в Киев.

Но для деятельности просветительской и научной, к которой он готовил себя, Киев 1918 года оказался местом самым неподходящим. В водоворот гражданской войны Михаила Булгакова втянуло сразу.

Мобилизационные повестки двадцатисемилетнему врачу приходили

Красная корона

(HISTORIA MORBI)

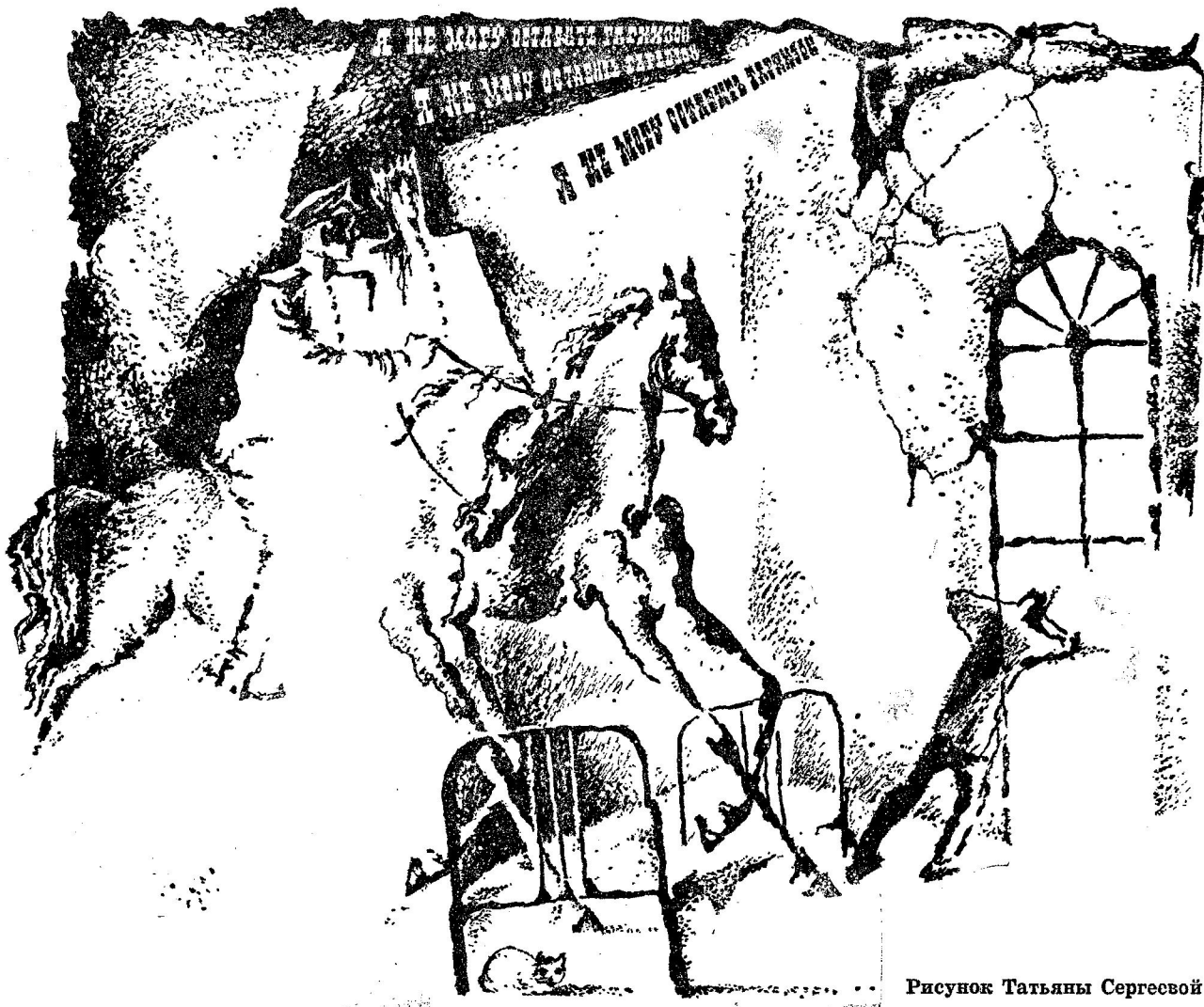


Рисунок Татьяны Сергеевой

одна за другой. Гетманская. По-видимому, он дезертировал в первые же сутки. Петлюровская — через несколько дней снова дезертировал. Осенью 1919 года его мобилизовали деникинцы.

Эта его служба — гетманская, петлюровская, деникинская, во всех ее вариантах — вызывала у него только ненависть. Он видел казни. Видел невыносимые жестокости. Навсегда запомнил убитых петлюровцами на Слободке, под Киевом. Тот, насмерть забитый шомполами, на последних

страницах «Белой гвардии», погиб на его глазах.

Думаю, что видел повешенных рабочих в Грозном в декабре 1919 года. И если это так, то Хлудов, станция «где-то в северной части Крыма», голубые луны фонарей и мешки на каждом фонаре — это с такой потрясающей яркостью возникнет в «Беге», потому что Булгаков это видел: не во врангелевском Крыму — он не был тогда в Крыму, — а на Северном Кавказе, когда деникинские генералы топили в крови восстание рабочих.

К этим расправам он не имел ни-

какого отношения. Но он их видел, и одно это рождало в его душе чувство трагической причастности к преступлению, чувство вины. Оно отразилось в ранней прозе Михаила Булгакова — и в этом рассказе «Красная корона», датированном приблизительно 1922 годом, и в дошедших до нас главах неосуществившегося романа «Алый мах» (1922). В произведениях более зрелых — в «Белой гвардии», в «Беге» — это чувство вины уступит место ярости обвинения.

Рассказ «Красная корона» не ав-

целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — странное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженикий кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная последняя картина.

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

— Найди его! Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым. Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Не видел в Бердянке покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и на-

шел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблучку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля! Коля! — Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

— А, брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на страшный маскарад. Уехал в серенкой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями — клочьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если бы не подерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

тобиографичен. Герой его на Булгакова не похож. И тем не менее это очень субъективная, очень личная проза. Горькое сожаление о невысказанном протесте («Но теперь я смело бы сказал: «Господин генерал, вы — зверь!..») еще долго будет преследовать писателя. Оно отразится и в рассказе «Я убил», герой которого, доктор Яшвин, так удачно, как это бывает только в литературе, стреляет в петлюровского палача. И еще ярче в пьесе «Бег» — в дерзких словах тифозной Серафимы («Все Хлудов, Хлудов, Хлудов... Зверюга! Шакал!»), в оплаченной жизнью единственной

речи «красноречивого вестового» Крапилина.

И тоже глубоко личный, хотя и не автобиографический мотив дан здесь в образе погибшего брата, в чувстве непоправимости и мучительной вины перед ним.

Булгакова не было в Киеве, когда в конце 1919 года отступающими денкинцами был мобилизован и увезен — навсегда — его младший и нежно любимый брат Николай, студент-медик. В течение двух лет он приходил только во снах, всегда окровавленный, и Булгаков просыпался с замиранием сердца и с отчаянием думал, что Николка убит. Эта жесто-

кая боль утраты была так велика, что Булгаков не мог перешагнуть через нее, не мог вполне уйти от нее даже тогда, когда оказалось, что брат — жив.

Известия о брате пришли в начале 1922 года. Бредовый бег белой армии, тот самый, что был потом описан Булгаковым в пьесе «Бег», занес его в эмиграцию.

Рассказ «Красная корона» был опубликован, когда Булгаков уже знал, что Николай жив. Но и в последовавшей затем «Белой гвардии», в последней ее главе, Елене снится окровавленный Николка: «В руках у него была гитара, но вся шея

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... Что ж, брат, доктора? Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит мертвый. И вот он говорил, шевельл губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шапкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит я сошел с ума.

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партия «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда

не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: «Иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усялить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой: — Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя — за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверю вас, вы были бы конечны, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердяске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерница, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерница говорила в коридоре:

— Безнадежен.

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

в крови, а на лбу желтый венчик предстоит разобраться. Ясная мысль соединиться в романе «Мастер и Маргарита». Любопытно, что в центр этого главного романа своей жизни Булгаков снова поставит «бедного больного» — правда, это будет другой образ, и художественное содержание его будет иным, но отдельные подробности в описании «дома скорби» в этом раннем рассказе и зрелом романе совпадут.

С начала 1923 года Булгаков пишет роман «Белая гвардия». Годы работы над «Белой гвардией», потом над пьесами «Дни Турбиных» и «Бег» стали для писателя годами напряженнейших размышлений, решений и выводов. «Красная корона» — подступ к теме гражданской войны, сгусток эмоций и образов, в которых еще читателям, знающим молодого Булгакова по «Белой гвардии», «Запискам юного врача», рассказу «Ханский огонь», стиль «Красной короны» покажется неожиданным. Он сбивчив, странен, фантастичен. Странен сюжет — рассказ представляет собой исповедь душевнобольного. Historia morbi — история болезни.

И тем не менее перед нами — Булгаков. Это разные стороны его таланта, которые в раннем творчестве порою выступали раздельно и которым суждено было так удивительно

соединиться в романе «Мастер и Маргарита». Любопытно, что в центр этого главного романа своей жизни Булгаков снова поставит «бедного больного» — правда, это будет другой образ, и художественное содержание его будет иным, но отдельные подробности в описании «дома скорби» в этом раннем рассказе и зрелом романе совпадут.

Первая и единственная публикация рассказа «Красная корона» — в «Литературном приложении» к газете «Накануне» 22 октября 1922 года.

Комментарии и публикация
Лидии Яновской